

А.Д.СТОЛЯР

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ

Память об Михаиле Илларионовиче живет во мне, не убывая и не ослабляясь. Много в моей жизни определено им и все же предлагаемый рассказ неизбежно носит фрагментарный и ограниченный характер, лишь частично представляющий эту выдающуюся личность. Документальность воспоминаний ослабляется и тем, что я не вел дневник, не делал памятных записей, не наводил справки в архивах, а мои друзья, хорошо знавшие Михаила Илларионовича (Антонина Николаевна Изергина, Юрий Александрович Русаков и др.), в большинстве своем уже также покинули нас.

Пожалуй, еще большая для меня трудность в восстановлении некоторых подробностей жизни М.И. сопрягается с его свойствами. Он отличался большой сдержанностью (не исключено, усиленной атмосферой прожитых десятилетий) и очень редко рассказывал о себе, даже в условиях, казалось бы, располагавших к этому. Так, мне довелось скоротать с М.И. две недели в Рощино в критически тяжелый период его жизни, позднее провести около месяца в поездке по Дагестану. Но много больше, чем в этих случаях, я узнал о его молодых годах во время единственной "прогулки" чарующей белой ночью 1967 года от "Метрополя" на Садовой до квартиры Артамоновых на Наличной улице в Гавани Васильевского острова.

Мой рассказ посвящается исключительно Михаилу Илларионовичу, но при этом, конечно, надо помнить, что рядом всегда, в радости и в горе была Ольга Антоновна, со всей ее преданностью, волей и энергией.

* * *

... Февраль 1946 года. Возвращение на родную кафедру, о чем так мечталось в самые тяжелые дни военного лихолетья. Первая и очень значимая для меня встреча на спецсеминаре с профессором М.И. Артамоновым.

На столе — стопка книг. Надо приготовить и доложить реферат по одной из них. Девушками группы, недавно вернувшимися с Университетом из Саратовской эвакуации ("пришлых" в шинелях и кирзовых сапогах только двое), быстро разобраны небольшие книжечки. Осталось одно форматное издание, которое М.И. вручает мне. Это — "Маріюпільський могильник" Н.Е.Макаренко на украинском языке. Моя ссылка на незнание украинского языка парируется — "не Боги горшки обжигают".

С жадностью, с головой ухожу в чтение книги, вникая в детали, вдумываясь в каждую неоднократно прочитанную фразу и сопоставляя основной текст с приложенным кратким дневником раскопок. И при всем моем юном пиетете к именитому археологу прихожу к ряду сомнений в обоснованности его суждений относительно истории, погребального обряда и структуры этой своеобразной усыпальницы. Обескуражен этим, сомневаясь в собственной логике и предполагая, что в этом может проявляться послевоенная летаргия моего сознания.

При встрече в коридоре истфака вопрос профессора о моем чтении Макаренко. Я признаюсь в своих трудностях — не языковых, а смысловых, в имеющихся разночтениях с автором монографии. И профессор университета, у которого каждый день забит до отказа, назначает вечернюю встречу. Через два дня, точно к десяти вечера я подымаюсь на последний этаж дома № 31 по 8-ой линии Васильевского острова, дома, памятного поныне уже тем, что в нем жили О.Э.Мандельштам и Г.А.Бонч-Осмоловский. В коммунальной квартире достаточно большая семья Артамоновых занимала две комнаты. В меньшей из них — узкой и длинной, выходявшей на открытый балкон — шкапами был отгорожен "кабинет" М.И. Здесь же располагался сын-школьник и гостивший в городе старик-отец, могучий русоволосый плотник Илларион. Экзамен мой закончился за полночь. М.И. воспринял мою очень незрелую попытку научной критики с неподдельным вниманием и участием, искренней заинтересованностью, снявшей скованность. Внося порядок в мой план действий, он воодушевил меня на продолжение многопланового анализа памятника, освободив от фиксированного срока семинарского отчета. Результатом этих занятий, постоянно поддерживаемых и направляемых М.И., явилась моя большая статья "Мариупольский могильник как археологический комплекс" (ок. 3 п.л.) в "Сборнике студенческих и аспирантских научных работ" (Л., 1947). Затем были другие публикации и доклады и, в конечном счете, спустя шесть лет защита кандидатской диссертации по этой проблеме.

Так состоялось мое археологическое крещение и М.И., естественно, стал на ступени моего созревания последним и самым значительным учителем. Учителем, как я понял позднее, не только в археологической науке, но и в отношении к явлениям жизни. С момента первой "мариупольской" беседы все решающие рубежи в моих занятиях определялись его обширной эрудицией, исследовательской дальнорзоркостью и тонким теоретическим восприятием сложности исторического процесса. И выражалось такое участие нередко не только в просвещении и добром совете, но и в конкретной действенной помощи, требующей немалой затраты сил, а то и связанной с разными неприятностями.

Первый же такой случай пришелся на момент моего окончания истфака. Осенью 1948 года, в пору особого разгара борьбы с космополитизмом, при моих демографических данных я был принят в аспирантуру Университета — совершенно исключительный случай, чуть ли не единственный в этом году в Ленинграде. Трудно представить все препятствия, которые при этом пришлось преодолеть М.И., в ту пору проректору Университета. В разговорах со мной обо всех этих перипетиях он не обмолвился ни единым словом. Но по дошедшей до меня молве я узнал, что от него объяснений потребовали достаточно высокие инстанции, а он

позволил себе заявление о неизменности принципов отбора учеников, не зависящих от преходящих указаний.

С моей аспирантурой совпали три года раскопок (1949-1951) тогда самой большой "новостроечной" Волго-Донской экспедиции, работавшей в специфически трудных условиях грандиозного гугаговского строительства. М.И., возвращаясь к изучавшимся им до войны на Подонье памятникам, определил главную цель этих работ — археологическое спасение Саркела - Белой Вежи и широкое исследование всей зоны затопления.

Множество трудностей отнюдь не научного характера пришлось здесь преодолевать повседневно. Достаточно хотя бы упомянуть, что первая же встреча в Калаче (апрель 1949 г., задача — срочное подписание договора о финансировании экспедиции) М.И. с грозным начальником (общепринятая кличка — "волкодав") Главволгодонстроя генералом Я.Д.Рапопортом (в его "активе" — Беломорско-Балтийский канал) обнаружила их полное взаимное неприятие о оборвалась безрезультатно.

Насколько М.И. был неспособен к каким-то моментам дипломатической игры показывает его крайнее удивление одним эпизодом весны 1946 г. В это время П.Н.Третьяков — самый заметный из нового поколения археологов, несомненный лидер, пользующийся общими симпатиями, получил предложение перейти на работу в Москву в Отдел науки ЦК КПСС. Обратился он к М.И., как несомненному авторитету среди ленинградских археологов, с просьбой о совете. Просидели они в упоминавшемся "кабинете" М.И. ночь, размышляя и взвешивая все доводы. Пришли к твердому решению об отказе от этой миссии. А выйдя от М.И. Третьяков сразу на ближайшей почте дал телеграмму в Москву о согласии. М.И. по этому поводу глубоко недоумевал — для чего было так бездарно тратить ночь. Сейчас можно определенно сказать, что последнее решение П.Н. было ошибочным. Ленинград потерял специалиста, который мог бы обеспечить долгую устойчивую работу археологического института, а сам П.Н.Третьяков нанес этим несомненный ущерб своей возможной научной деятельности.

В конце последнего полевого сезона, когда работа на раскопках была особенно напряженной, неожиданно определилась, независимо от воли М.И., ожидающая его новая сфера деятельности. Августовской ночью 1951 г. на базу экспедиции хутор Попов мотоциклистом была доставлена "красная" правительственная телеграмма (по слухам за подписью Сталина), предписывающая М.И. до 1 сентября принять Эрмитаж в качестве директора.

Когда после марта 1953 года (смерть Сталина) наступило некоторое потепление, М.И. решительно настоял на немедленной кандидатской защите (июнь 1953 г.). Но путь к штатной работе по-прежнему был закрыт. Поэтому был отпущен на "свободную" работу в экспедициях, что было совсем нелишнее для накопления полевого опыта.

По условию М.И. я должен был сразу вернуться в Ленинград, получив первый же сигнал. Но случилось так, что после летнего сезона застрял в Крыму — земле действительно обетованной и в археологическом, и в природном отношениях. Немало тому же содействовал заражающий энтузиазм Павла Николаевича Шульца, руководившего Отделом археологии и истории Крымского филиала АН

УССР. Несколько раз обращался к М.И. с просьбой о некоторой пролонгации крымского периода — вплоть до его ультимативной телеграммы в начале 1956 года (возвращение в Ленинград или утрата штатной вакансии в Эрмитаже).

Работая в Эрмитаже с марта 1956 г., я смог видеть М.И. в наиболее полном раскрытии. Высокая творческая культура, широкий кругозор, ясность интеллекта и теоретическая интуиция. Не говоря уже о знании материальных реалий древних культур Старого Света, очень тонкое восприятие искусства, заложенное еще в годы его юности. Удивительный талант организатора и незаурядная работоспособность. Сознание духовной миссии Эрмитажа в рамках мировой культуры, сопряженное с чувством личной ответственности за положение и судьбу музея. Нарастающая, по мере давления на него, сила противостояния ложным установкам. Цельность воли и мужество духа, вплоть до готовности принести в жертву делу личные интересы и даже самую соблазнительную перспективу карьеры. Прямодушие и особая, внешне никак не подчеркиваемая забота о коллегах.

Полученный в Попове приказ М.И. встретил безрадостно, как финал более чем годового его сопротивления Комитету по делам искусств. Как-то вырвались отрывочные воспоминания, как в 30-е годы он работал в Эрмитаже совместителем. Общая обстановка в музее тяготила его и он попросту перестал там появляться. Особый характер всей ситуации придавало то, что это был уже второй случай замещения И.А.Орбели М.И.Артамоновым. Только в первом варианте положение было совершенно иным — в 1938 г. беспартийный М.И.Артамонов был избран коллективом ИИМКа директором (случай уникальный в условиях этого времени), обязанности которого до этого исполнял И.А.Орбели. Теперь же, в 1951 г., этот акт заключал острую опасность драматического конфликта с участием всего штата Эрмитажа. Весь этот состав — от научного персонала до мастеров-паркетчиков — был многолетне выпестован именитым И.А.Орбели в свойственном ему "феодалном" духе при резкой дифференциации сотрудников на приближенных и изгоев.

Лишь естественная мудрость М.И. — настолько доминирующая духовность, что ей чужда была амбициозность и игра личных чувств — сняла эту угрозу полностью и сразу. Его беспристрастная позиция ровного отношения, признающая только реальное дело, исключила свару, длительное сведение счетов, зарождение новых фаворитов. Всю "дворцовую предысторию" он начисто исключил из своего сознания, отвечая на ее реликты у отдельных эрмитажников тонкой, уважительной к личности критикой. Так, одно лицо из "старослужащих", сочувствуя новому директору в его трудностях и говоря о потаенных сторонах жизни музея, предложило регулярное сообщение информации интимного характера. Ответив благодарностью, М.И. заметил, что у него очень плохая память и поэтому он просит передавать такие сведения в письменном виде. Сам М.И., лишенный дара, да и склонности к дипломатичности, был очень доволен находкой такого ответа, достаточно гуманного и сразу же оздоравлившего атмосферу общения.

В чувстве преданности Эрмитажу М.И.Артамонов не уступал И.А.Орбели, только он был хозяином этой сокровищницы мысли и чувств человечества в совершенно ином олицетворении. Не обладая общительностью Орбели, он оставался в этих стенах главной и совершенно самостоятельной фигурой, когда вел по залам

даже самого Н.С.Хрущева, других высших отечественных и зарубежных (Неру, Сукарно, Тито и др.) политических деятелей, когда напрямую отвергал подсказки свиты относительно чего-то "особенного", не показываемого всем, что любопытно было для их патрона.

Удивителен был его талант организатора и руководителя. Я не припомню случая, когда грамотно поставленный вопрос не решался бы сразу и компетентно, без откладываний и процедурных проволочек. И решался действительно верно при любой его сложности. Секрет этого искусства, полностью проявившегося еще в бытность М.И. директором ИИМКа, я знал со времени исполнения им обязанностей ректора Ленинградского Университета. Так, очень показателен такой случай. Главным редактором издательства ЛГУ был Юрий Давыдович Левин — ныне ведущий научный сотрудник Пушкинского дома, доктор литературы оксфордского университета. Директором же являлась личность с фамилией П.А.Кошмаров. Перепуганный раз и навсегда, малообразованный, боящийся печати любой книги (кроме, понятно, партийных постановлений), он словно специально был подобран по фамилии. Вся жизнь хорошо мне знакомого Ю.Д.Левина была тяжелейшей батальей за издания как-то соответствующие марке Университета. На этот раз он принес годовой издательский план, без всяких аргументов отвергнутый П.А.Кошмаровым. Просмотрев основные позиции этого плана, задав несколько существенных вопросов, М.И. накладывает утверждающую резолюцию. Ю.Д.Левин не удерживается от вопроса: "М.И. Я не впервые наблюдаю загадочное для меня явление — Ваше прямое, без рецензирования и других страховочных операций одобрение издательского плана, в наши дни таящего в себе непредсказуемые опасности". В ответ М.И. объяснил принцип, которым он руководствуется, примерно в таких словах: "Отдаю себе полный отчет в том, что я сам профессионально и во всех тонкостях в работе многочисленных подразделений Университета разобраться не могу. Поэтому, основываясь на жизненном опыте и интуиции, я задаю себе два вопроса. Первый — компетентен ли автор предложения, второй — заслуживает ли он доверия. В случае двух "да" я решаю вопрос положительно". Тогда же, во многом стараниями М.И., в издательстве ЛГУ была выпущена монография В.А.Фока, заклеянного в эти годы как "крайне порочного идеалиста". "Как Вы допустили?" — спрашивали Артамонова. "Никакого идеализма я там не увидел, — невозмутимо отвечал он. — Увидел одни формулы".

В определенном смысле М.И.Артамонов, приняв Эрмитаж, взвалил на себя ношу, много превышающую собственные директорские обязанности. Наглядно это свидетельствуется тем, что он выполнял значительную часть работы двух своих основных заместителей — по науке и учету и хранению. Обе личности, индивидуально особенные, и, можно сказать, представлявшие интеллектуальные противоположности, были подобны лишь в том, что явно не отвечали административному характеру каждой из должностей. Заместителем директора по науке был "патриарх" Эрмитажа, выдающийся знаток западноевропейского искусства Владимир Францевич Левинсон-Лессинг — явление чуть ли не мифологическое по образованности (в частности, он владел 7 европейскими языками), таланту атрибутатора старых мастеров и духовности. Особой чертой этой личности была завоеванная им в течение многих лет репутация полного антипода администратора. Анекдоты

по этой части любовно коллекционировались молодыми эрмитажниками. Заместителем по учету и хранению (а равно и руководству целой сетью реставрационных мастерских Эрмитажа) был Павел Иванович Малинин — простоватый, весьма недалекий человек, никак не отличавшийся образованностью и живостью ума.

От Левинсона-Лессинга Артамонова постоянно пытались освободить Дзержинский райком, да и горком КПСС. Нужна была его непоколебимость для защиты своей позиции — он постоянно повторял, что на международном уровне Эрмитаж может достойно представлять только Левинсон-Лессинг. Причины устойчивого положения П.И.Малинина были для всех загадочными. На неоднократно задаваемый разными лицами прямой вопрос: "Как Вы можете держать своим заместителем Малинина с его оригинальной присказкой "знаш-понимаш"?" ответ носил очень общую форму. М.И. говорил, что Малинин заслуживает уважения и поощрения, так как в критических условиях совершил недоступный большинству поступок. О случайном прояснении этого казуса я расскажу ниже.

Генеральной задачей — не столько декларируемой, как повседневно выполняемой — М.И. считал принципиальное наполнение всего бытия музея научной работой высокого уровня. Катализаторами такого одухотворения эрмитажной жизни он избрал представительно поставленные ежегодные отчетные конференции и не только восстановленное, но и масштабно развернутое издательство. Отчетные научные конференции в начале каждого следующего года, сопровождаемые выставками в фойе эрмитажного театра, представляли заметное событие (что-то вроде фестивального годового "смотрa"), вызывающие интерес и резонанс далеко за стенами Зимнего дворца. Уже сам отбор докладов для пленарного заседания означал признание их научной значимости. Самым заинтересованным слушателем всех докладов неизменно был директор. Он же активно участвовал в обсуждении, придавая некоторым вопросам неожиданную актуальность и остроту. Особенно же вдохновляющая роль М.И. проявлялась в последующей судьбе ряда первых сообщений. Когда его интеллектуальная дальнзоркость позволяла ощутить скрытый потенциал только намеченной темы, он добивался (порой при начальном сопротивлении автора) многолетнего продолжения этой исследовательской инициативы и ее фундаментального завершения. Так, в частности, произошло со мной.

Прежнее издательство, существовавшее при Эрмитаже, прекратило свою деятельность во время И.А.Орбели, наверное потому, что, по его же словам, у него был роковой недостаток, общий для всех издательств — "Оно печатало только уже написанные работы". Воссоздавая это звено в системе Эрмитажа, новый директор преследовал две цели. Основная — публикации, прежде всего, оригинальных исследований для их включения в научный оборот. Дополнительная роль издательства сводилась к материальной поддержке и стимулированию исследовательского состава музея, получавшего мизерную зарплату.

Одним из условий приема Эрмитажа М.И. было данное ему твердое обещание существенно поднять ставки сотрудников музея. Проходили годы, а реализация этого решения постоянно откладывалась. Сочувствие М.И. к своим коллегам оставалось несомненным, но у него не было склонности к публичным сетованиям, не меняющим реального положения дел. И он развязал этот критический узел особым, можно сказать, артамоновским способом. До введения новых ставок (а это

произошло почти десять лет спустя) он приказал директору издательства старому полиграфисту А.Ф. Коновалову оплачивать достаточно высокими гонорарами все публикуемые эрмитажниками научные работы. Такая практика облегчила жизнь многих музейщиков. Но она же таила в себе вероятность катастрофических неприятностей для директора. Со временем всеведующее КРУ, обратив внимание на этот необычный порядок, опротестовало законность таких выплат (а они уже составляли очень значительную сумму). Очевидно доводом послужило то, что научная работа должна входить в служебные обязанности научного сотрудника. В конечном счете все разрешилось благополучно благодаря буквально анекдотической справке, полученной из Министерства. В ней говорилось что-то вроде того, что Эрмитаж относится к категории зрелищных организаций и поэтому плановая научная работа для его сотрудников не предусмотрена. Что это — шутка чиновников или же результат того, что Эрмитаж спутали с садом "Эрмитаж" в Москве — остается тайной.

Третьим направлением новации — частным (он не охватывал картинную галерею), но, пожалуй, специфически трудным в силу естественности для такого музея — являлись новые принципы и приемы подачи материалов историко-культурных отделов. Естественно, что первые такие опыты выпали на долю собственно археологии. Весной 1956 года (напомним, что тогда с опозданием на 3 года готовился 250-летний юбилей "прощенного" Ленинграда) М.И. буквально зажег весь коллектив первобытного отдела, возглавляемого Марией Захаровной Паничкиной, идеей преобразования "академических" экспозиций на основе повествовательной подачи материалов (включение условных реконструкций, схематических дорисовок, компоновка артефактов с документальными крупномасштабными фотографиями и др.), более доходчивой для нашего современника. Он вспомнил по замыслу подобную, но во многом социологически примитивную попытку в 30-е годы только что созданного первобытного отдела. Почти завершенная такая экспозиция в Фельдмаршалском зале тогда открыта не была, но несколько зафиксировавших этот опыт фото-негативов отыскать удалось. Познакомил нас М.И. и со своими аналитическими впечатлениями о некоторых экспозициях музеев Болгарии, Венгрии и ГДР, частично как бы подхвативших и усовершенствовавших сорвавшийся почин первобытников Эрмитажа.

Закипела подлинная страда, когда все работы (включая столярные и малярные) выполнялись сотрудниками отдела. Наступившие белые ночи делали рабочий день неограниченным. К юбилейному сроку (конец мая) была открыта экспериментальная выставка на Салтыковском подъезде "Древнейшее прошлое Ленинградской области", принятая очень тепло посетителями (особенно многочисленными школьными экскурсиями). Некоторые ветераны Эрмитажа из других отделов, зараженные "академическим" пуризмом, не скрывали своего недовольства такой "профанацией". Однако, очень скоро мало-помалу наглядные решения проникли в экспозиции других историко-культурных выставок Эрмитажа. Затем они заняли заметное место в экспозициях других музеев Ленинграда, а позднее и во многих музеях в разных областях СССР. Авторство этого начинания не было закреплено (если не считать две публикации) и ныне практически забыто. Но, главное — сам поиск подобного плана продолжается и совершенствуется поныне.

Вскоре в моих занятиях под решающим влиянием М.И. произошел столь же неожиданный для меня, как и значительный по сути сдвиг, определяющий поныне, спустя около 40 лет, круг моих основных интересов. М.И. предоставил сотрудникам Эрмитажа свободу выбора тем научных занятий, конечно, в пределах возможностей и профиля музея. Меня, не без влияния Александра Александровича Иессена, особенно привлекла несомненно актуальная задача поисков совершенно неизвестных поселений майкопско-новосвободненской культуры на Кубани. Два года совместной с Александром Александровичем Формозовым экспедиционной работы увенчались осенью 1958 года исключительной удачей — случайным сделанным открытием очень богатого укрепленного поселения (по существу — древнейшей крепости) Мешоко с майкопскими и новосвободненскими слоями. Первые же поступившие в Эрмитаж коллекции показали, что планомерного широкого изучения этого сложного и долгожданного памятника с лихвой хватит на всю жизнь археолога. Материал захватил своей новизной и обилием, возникли первые радикально нестандартные гипотезы (генетическая независимость корней Майкопа и Новосвободной и др.). Казалось, что многолетняя линия моей археологической работы незыблемо определена.

В этих ясных условиях в мою судьбу внезапно вклинивается некто А.А.Тудоровский, которого я видел лишь единожды. Благодаря моим учителям, начиная со школьной скамьи (Антонина Михайловна Серкова, Александр Александрович Преснов, особенно Яков Алексеевич Горбовский) и кружков при музеях (Наталья Давыдовна Флитнер, Давид Натанович Лев, Ольга Александровна Спицына и др.), а затем Университета, при решающем влиянии В.И.Равдоникаса и М.И.Артамонова, меня постоянно, а по мере взросления все серьезнее, волновала великая тайна рождения человеческого интеллекта и творчества. Способствовали этому и читаемые мною лекции со времени аспирантуры о происхождении искусства (программа I курса "Университета культуры" при Эрмитаже). Тогда слушатели заставляли меня физически ощутить несостоятельность излагаемых мною бытовавших гипотез. Но это мое увлечение составляло только хобби и, несмотря на то, что со временем слегка наметилась археологическая ниточка объяснения генезиса творчества как процесса многотысячелетней длительности, за рамки размышлений только для себя я выходить никак не собирался.

С любопытством пошел на поставленный в ЛОИА весной 1961 года доклад А.А.Тудоровского — давнего выпускника не то ЛИФЛИ, не то истфака, чиновника отдела культуры Горисполкома — по теме "Происхождение искусства". Весь доклад состоял из примитивного толкования цитат "классиков" и поношения западных "лженаучных" (аббата Брейля, Соломона Рейнака и др.). Ни памятников (кроме постоянно упоминаемых Костенок), ни работ предаваемых анафеме авторов он не знал. Так, не жалея обличений в адрес Рейнака, он не ведал, что его главное положение о рождении палеолитического искусства в районе Дона на несколько десятилетий раньше предложил именно С.Рейнак, считавший родиной искусства мамонтовую зону Великой русской равнины. Такая профанация была настолько оскорбительна для самого предмета, что я не выдержал, выступил с критикой, частично изложив свои представления. На этом затянувшееся заседание закончилось.

А следующим утром М.И. вызвал меня в кабинет. "Вы сами не понимаете, что вы нашли, — сказал он с несколько необычным темпераментом. — Заниматься Вам надо этой проблемой. Ваш доклад будет открывать отчетную научную конференцию за 1961 год". Был первый доклад, живо встреченный не только археологами, но также западниками и восточниками. Появились его тезисы. Продолжением явился второй доклад на следующей научной сессии. Этим же сообщением я представлял Эрмитаж вместе с Юрием Ивановичем Кузнецовым (его тема — рентгеновское исследование Данаи Рембранта) на научной сессии в Москве, посвященной 50-летию Пушкинского музея.

Постоянно поддерживаемый М.И., подготовил первую развернутую статью (4 п.л.) о "натуральном макете". Она была включена в подготовленный к печати 6-ой Археологический сборник Гос. Эрмитажа. Ожидание этого первенца было прервано случайной встречей с директором издательства Коноваловым. Он "обрадовал" меня тем, что "все в порядке", сборник накануне его передачи в типографию. Только надо срочно извлечь из него мою статью, которую категорически не пропускает дама-цензор, закончившая Академию художеств. Прошу Коновалова, который такой привычной для него "хирургии" вообще не придавал серьезного значения, поставить об этом в известность М.И. (он же — редактор этого сборника). В дальнейшем от Коновалова, несколько удивленного последующим развитием событий, узнаю (в разговорах со мной М.И. этой темы вообще не касался) о решительных объяснениях М.И. с цензурой, а затем об его обращении в отдел Горкома КПСС. В итоге сборник вышел с моей статьей. Сейчас я понимаю, что этим тема происхождения творчества была окончательно закреплена в моем сознании как властная доминанта. В противном случае начатый мною поиск оказался бы, скорее всего, проходящим эпизодом и я бы вернулся к "нормальной" археологической работе по материалам ярких культур-энеолита Кубани.

Именно такое повседневно внимательное отношение М.И. к формирующемуся исследователю, требующее никак не фиксируемой немалой затраты сил, было органической особенностью внешне очень сдержанного, а иногда, могло показаться в силу молчаливости, и безразличного директора Эрмитажа.

С такой же не показной, а действительной заботой и заинтересованностью занимался он всеми сторонами жизни музея — от научной, экспозиционной и просветительской деятельности отделов, расширения международных связей, интересов сотрудников, обогащения библиотечной сети музея и вплоть до коренного преобразования всех реставрационных мастерских и, к примеру, завершения паркетной мозаики в Николаевском зале. Строгая личная скромность директора выражалась во многом. Так, она неутомимо "пробивал" зарубежные командировки для эрмитажников и благодаря им некоторые из них (например, Ирена Владимировна Линник) получили европейскую известность. А сам М.И. в течение 13 лет позволил себе считанные деловые поездки в другие страны.

Так Эрмитаж, совершенствуясь во многих отношениях и не раздираемый внутренними раздорами (во многом по причине директорской невосприимчивости таких эмоциональных коллизий) приближался к знаменательной дате своей истории — двухсотлетию.

* * *

Естественно, что Эрмитаж в своем величии уникального зеркала мировой культуры существовал не в отрыве от социальной действительности. Он постоянно ощущал стихийную тектонику политической жизни страны со всеми ее катаклизмами. По своим параметрам он объективно не вписывался в рамки "узкой" партийной идеологии. Догматизму противоречила широта отражаемой в нем духовной панорамы человечества и многообразие запечатленной в шедеврах творческой мысли как воплощение художественного свободомыслия. Всем этим особенно обострялась задача строгого идейно-партийного контроля за всей деятельностью музея, что практически привело к образованию особого бюрократического механизма.

Первым его звеном служил инструктор райкома, обычно не особенно отягощенный историко-культурным образованием и одновременно несущий ряд других, совершенно отличных нагрузок. Вызываемое Эрмитажем чувство опасности особенно усиливалось во время очередных идеологических компаний. Никакого соцреализма, масса враждебных ему, исторически увековеченных направлений творчества. А сколько потаенных идеологических ловушек вообще может быть скрыто в этих необозримых хоробах. Не совсем благополучный состав сотрудников. Да еще их свободное, никак не контролируемое общение с иностранцами. Задача такого куратора — не просмотреть враждебную вылазку и дать сигнал "наверх". Перестраховка здесь не беда — она может свидетельствовать лишь об особом усердии и бдительности. Начиная с сигнала этого звена, в действие автоматически, без разбора ситуации, по существу вступал механизм возгонки напряженности от инстанции к инстанции, иногда вплоть до Министерства культуры.

И. А. Орбели при всей его самобытности был безгранично предан Эрмитажу. В этом отношении его исключительные заслуги (прекращение продажи картин Эрмитажа, создание Восточного отдела, тяжелейшая работа по сохранению музея в военные и первые послевоенные годы) очевидны. Уникальными были его популярность и авторитет. Но его самостоятельность была совершенно неприемлема для Комитета по делам искусств во главе с М. Б. Храпченко. Годами на него собирався "компромат", который, заметим, при предъявлении оказался частично анекдотичным. В проведении этой нелегкой для Комитета операции особое значение принадлежало подбору нового кандидата. Нужен был ученый с именем, обладавший известностью и, вместе с тем, заведомо управляемый и послушный начальству. Такая задача была не из числа простых. Кандидатуру Артамонова, наверное, подсказала память об уже упоминавшемся уникальном событии — избрании его директором коллектива ИИМКа взамен И. А. Орбели. Положительным был, очевидно, и демографический показатель — происхождение из крестьян Тверской губернии, что, казалось, исключало кровную связь с интеллигентской вольницей.

Ошибка, допущенная здесь кадровиками, была вопиющей — они выбрали полную противоположность задуманной ими модели и поставили во главе Эрмитажа личность, никак не уступавшую И. А. Орбели в самостоятельности, особенно не в частных, а в самых принципиальных вопросах. Анкета не раскрывала самую существенную духовно-этическую характеристику М. И. Из нее выпали сведения о

занятиях в юности у Петрова-Водкина в классах Академии художеств, о его исследовании древнерусской живописи Новгорода в аспирантский период, о близости с поэтической средой Петрограда в годы НЭПа. А главное — просмотрели в нем глубокое наследование исконно народного (можно сказать исторического) свойства нравственной стойкости и преданности делу. К тому же у М.И. эта особенность была укреплена особым "рефлексом" — у него обязательно возрастало сопротивление, если он испытывал некорректное давление аппарата власти, преследовавшего свои особые цели. В тринадцатилетний срок работы в Эрмитаже М.И. прошел особенно значительный путь кристаллизации духа и воли. И если в год приема Эрмитажа он позволил себе в статье обязательные в ту пору реверансы в адрес работ И.В. Сталина по языковедению, то в дальнейшем нечто подобное было полностью исключено. А каждый новый день приносил с собой нескончаемую череду больших и малых испытаний.

Совершенно естественно М.И. продолжил орбеливскую традицию активного участия во всей культурной жизни великого города. Но и эта сторона его деятельности была особой, лишенной налета популизма и формального участия в каких-то официозных мероприятиях. Чаще всего она вызывалась тревогой при появлении какого-то нового грандиозного проекта "совершенствования" и "осовременивания" облика Ленинграда. В таких ситуациях в официально-торжественной атмосфере городских активов единодушие неоднократно нарушалось двумя голосами — М.И. Артамонова и Д.С. Лихачева. Они протестовали против варварского разрушения церковных зданий. Помню очень мрачного М.И. в один из дней февраля 1962 года, сказавшего, что накануне, по существу тайком, взорвали церковь Успения на Сенной площади. Особенно настойчиво отвергалась идея коренной модернизации Невского проспекта, который собирались "одеть" в алюминий и стекло (проект Каменского). Удалось также добиться отказа от высотного 27-этажного проекта гостиницы "Ленинград" и возведения также высотной башни-ресторана у фонтанов Петергофа. Немало сил отнимала защита самого ансамбля Эрмитажа, в самом прямом смысле, в связи с причудливыми замыслами элитной "утилизации" его помещений. Так, пришлось слышать о предложении использовать по прямому назначению манеж, расположенный под собственно эрмитажным павильоном (музей хранил там большую коллекцию карет и крупную художественную мебель).

Сам же я был свидетелем другого казуса, о котором расскажу кратко. М.И. как редактор читает мою небольшую статью в Сообщениях ГЭ о принципах археологической экспозиции. Звонок вертушки. По разговору понимаю, что уже в пути какое-то большое начальство, приезжающее специально для осмотра самого большого в Зимнем дворце Николаевского зала, находящегося в реставрации. Вопрос М.И.: "Хотите посмотреть руководство? Пойдемте". У дверей Николаевского зала секретарь обкома В.С. Толстикова, Ф.Р. Козлов (второе лицо в государстве) с небольшой свитой. Осмотрев зал, речь начинает Козлов: "Директор! Еще Ленин говорил, что дворцы должны принадлежать народу, а в Ленинграде нет ни одного приличного зала для приемов. Лучше этого и не придумать". Далее из этой идеи следует план превращения Петровской галереи в буфетную, а сооружение под залом в первом этаже в кухню для обслуживания банкетов. Артамонов не стал обсуждать такое предложение вообще. Его ответ был предельно кратким: "Пока я

директор Эрмитажа, этого не будет". Прозвучали эти слова с такой твердостью, что на том целевое посещение Эрмитажа высшим начальством завершилось. Прямота М.И. в отстаивании своей позиции была постоянной в любых обстоятельствах. С такой же прямоотой он обращался к министру культуры Е.А.Фурцевой, привыкшей к особой обходительности, с чуть ли не ультимативным требованием незамедлительного выполнения постановления Правительства о повышении оплаты хотя бы охране Эрмитажа.

С течением времени, сбрасывая с себя путы и как бы раскрепощаясь, М.И. позволял себе поступки, совершенно не вписывающиеся в общий колорит времени. К ним, например, можно отнести его выступление в Эрмитажном театре в апреле 1960 года на торжественном заседании в память 90-летия В.И.Ленина. Было известно, что он — единственный из всех присутствующих — видел Ленина и, естественно, ожидалось, что его речь составит эмоциональный апофеоз всего мероприятия. А он выступил с крайне прозаичными воспоминаниями как он с приятелем-солдатом, выйдя из Народного дома, дошли до особняка Кшессинской. Там небольшая толпа народа, а с балкона особняка сильно картавящий оратор произносил речь. Слушать они его не стали и ушли. "Я же не знал, что это будет Ленин," — пояснил М.И.

Ясно, что слишком самостоятельная позиция М.И. — и в стенах Эрмитажа, и в решении общих вопросов — вела к тому, что недоброжелательность начальства достигла критического уровня. В этом отношении единым было мнение городских инстанций и руководства Министерства культуры в Москве. Артамонов, не изменяя себе, сам их все более объединял в этом. Назрело время укрощения строптивого, которое решено было сразу начать с использованием предельных сил для полного подчинения своевольного директора. Перед этим президентом Академии художеств был избран, при решающем давлении Е.А.Фурцевой, В.А.Серов — "классик" соцреализма, не способный смириться с тем, что "модернизм" (точнее, импрессионисты и постимпрессионисты — шедевры Ренуара, Сезана, Дега, Матисса и др.) занимает почетное место в экспозиции картинной галереи прославленного Эрмитажа и пользуется особым вниманием посетителей. В знак благодарности он постоянно гипнотизировал Фурцеву рассказами о тех опасностях ее креслу, которые заключает в себе такая идеологическая диверсия. В итоге весной 1963 года в Эрмитаж направляется высокопоставленная комиссия Министерства культуры и Академии художеств, возглавляемая В.А.Серовым. Все последующее, снятое хроникально, представляло бы исключительный по выразительности трагико-комический документ эпохи.

...Горком чрезвычайно обеспокоен тем, насколько Эрмитаж подготовился к достойной встрече комиссии, начиная с ее завтрака. Артамонов отвечает, что предусмотрено только кофе и "Боржоми". Так непохмелившиеся члены комиссии приступают к работе. А.Н.Изергина серьезно озадачила весь ее состав цитатой из записки Ленина о большой художественной ценности собраний Щукина и Морозова (т.е. именно тех картин, которые экспонировались в Эрмитаже). Ответом явилось лишь длительное молчание. По словам Изергиной, непримиримый контраст отделял дергающихся псевдоинтеллигентов и достойно спокойного, уверенного в своей правоте М.И. Попытались несколько смилостивить М.И. посулами. Например,

как помнится, Е.В.Вутетич, давний знакомый М.И., настойчиво убеждал его в большой заинтересованности Академии художеств видеть его своим членом. Делались намеки и на вероятное избрание в Академию Наук СССР. Да и в воздухе висела, как очень большая вероятность, перспектива присвоения директору Эрмитажа звания Героя социалистического труда в связи с приближающимся двухсотлетием Эрмитажа. Но М.И. в полном согласии с самым авторитетным активом музея был предельно тверд в своей позиции. Комиссия не добившись ничего, даже каких-то частных уступок, удалилась, оставив свое категорическое решение о необходимости ликвидации осужденной ею идеологически вредной экспозиции нового искусства Запада.

Примерно через месяц М.И. вызывается на заседание обкома КПСС с отчетом о выполнении решения московской комиссии. Его выступление в тех стенах определенно представляло нечто уникальное по смелости и прямоте. Звучало оно примерно так: "Если мне государство платит зарплату, к тому же персональную, то вероятно исходит из того, что я не могу допустить позорище и ущерб нашему престижу и культуре. Потому единственное место, куда я могу поместить решение комиссии из полупьяных представителей — вот эта мусорная корзина". После этого народная молва цитировала суждение секретаря обкома В.С.Толстикова: "Если мы Артамонова не сломаем сейчас, то дальше нам будет не справиться с ним вообще". Такая задача наделялась большой срочностью и Эрмитаж сразу же оказался в центре критического поля. Но парадокс заключался в том, что директор, прошедший через эти испытания, совершенно не был травмирован, продолжал работу даже, пожалуй, с еще большим вдохновением и эффективностью. Как это ни странно, но в деятельности музея не удалось найти какого-то серьезного компромата.

...Неожиданная "удача" досталась противникам Артамонова в конце зимы следующего (т.е. 1964 — юбилейного) года...

При Артамонове Эрмитаж был своеобразным заповедником, где в его отделах с успехом работали специалисты по официально отвергнутым направлениям творчества. Научно-художественное свободомыслие было естественной нормой. В те же годы он оказался убежищем для молодых, еще только рождавшихся художников, индивидуальность которых оказалась несовместимой с канонами "соцреализма". Они (назову хотя бы ныне известных М.Шемякина, В.Овчинникова, В.Уфлянда), числясь по хозяйности (по эрмитажному — у Лели Богдановой), выполняли, например, работы по уборке в условиях достаточной свободы, позволявшей им художественно развиваться и чувствовать себя "младшими" эрмитажниками.

Эпизодически в музее открывалась небольшая внутренняя (т.е. только для сотрудников, но не для посетителей) выставка живописных работ самих эрмитажников. Ее основу составляли полотна реставраторов живописи, для которых такие этюды были показаны профессионально. Попадали сюда и отдельные полотна "такелажников" Лели Богдановой, недавно закончивших среднюю художественную школу при Академии художеств (класс С.Сеньчукова и др.). Выставка 1964 года не выходила за пределы повседневной жизни музея и особого интереса к себе вообще не вызвала. Просуществовала она всего один день и я, как и многие эрмитажники, вообще не успел ее посмотреть. Зато на нее заглянул, проверяя дежур-

ных, начальник охраны Эрмитажа М.С.Гавриленко и на уровне своих представлений об искусстве сразу же определил картину М.Шемякина как идеологическую диверсию в стенах музея. С момента его срочного сигнала в райком эта невежественная дефиниция разрастается как снежный ком, считается, что наконец Эрмитаж дал "материал", который можно широко использовать в особых целях.

Впрочем, сам Артамонов непосредственно к этой истории не имел никакого отношения. Он находился в отпуске и предварительно выставку осмотрел и разрешил В.Ф.Левинсон-Лессинг (по данному тогда определению секретаря горкома Г.И.Попова — "старик, который чешет на всех языках"). Следовательно, открылась возможность, по крайней мере сместить зам. директора, которого особенно ценил Артамонов, и попытаться посадить на это место "своего" человека. Однако Артамонов на этой ступени духовного высвобождения, руководствуясь своими этическими принципами и стремясь любой ценой сохранить Левинсона-Лессинга для Эрмитажа, резко меняет всю ситуацию. Создается впечатление, что он решил пройти свой путь противостояния и борьбы за творческую свободу Эрмитажа до конца. Он заявляет, что сам, лично как директор, несет полную ответственность за все, происходящее в Эрмитаже, в том числе и за эту выставку.

Наступает напряженный, полный разных слухов месяц подготовки партийной санкции в условиях строжайшей конспирации. Все случившееся вызвало общую острую реакцию в культурной среде города, как-то отозвалось в Москве, получило зарубежные отклики. На сознание готовивших это дело, наверное, как-то влияло и непоколебимое спокойствие Артамонова. В результате возникла мысль о попытке какого-то соглашения с М.И., но, конечно, при обязательном утверждении партийной линии — т.е. выдворении западных "модернистов" из основной экспозиции Зимнего дворца. Зав. отделом русской культуры Эрмитажа В.Н.Васильев, человек с давними горкомовскими связями, устно передал М.И. нечто подобное приглашению на беседу с В.С.Толстикovým. Затем секретарь горкома Лавриков, возглавлявший все это делопроизводство, в один из понедельников приехал в Эрмитаж для личного, с глазу на глаз, объяснения с директором. Но понедельник у Артамонова был постоянно выходным днем. Трижды секретарь партбюро Эрмитажа звонила домой М.И. и умоляла его приехать. М.И., искренне извиняясь перед ней за доставленное беспокойство, пояснил, что ему говорить с этим гостем Эрмитажа не о чем, а причина его отсутствия на работе конституционно законна. В эти дни, когда я видел М.И., исполненного ясной мужественности и бескомпромиссного сознания долга, что оставляло впечатление особого обаяния личности, он как-то сказал, словно обращаясь к себе: "Загнали меня как медведя в угол. Но отступить мне некуда — никакие сделки за счет Эрмитажа невозможны".

Наконец официально сообщается — решение о снятии М.И. с поста директора принято. Трижды назначался день, когда с этим решением коллектив Эрмитажа должен был ознакомить секретарь горкома. Трижды эрмитажники заполняли театр, но докладчик не появлялся, наверное, хорошо представляя характер ожидавшей его встречи. Не появился он и в четвертый раз в условленный день. Собрание проводили без него. Заполненный до отказа театр, заняты все ступеньки. Секретарь партбюро зачитывает краткий, в полстраницы, без всяких аргументов текст решения. А затем — непрерывный поток выступлений самых авторитетных эрми-

тажников. Они вспоминают работу под руководством директора и благодарят его за все то многое и существенное, что он сделал для музея. В уже бывшего директора не был брошен не один камень. Вручаются букеты цветов. Если бы в театр попал кто-то, не знавший официальную повестку собрания, то он несомненно бы решил, что присутствует при чествовании директора Эрмитажа. Последнее, очень короткое слово растроганного М.И., прозвучавшее в невероятной тишине буквально замершего зала: "Благодарю Вас за счастливые годы, которые мне довелось работать с Вами. Признателен Вам за Вашу душевную щедрость. И эти узы дружбы и сотрудничества нельзя разорвать никакими приказами". Затем на Дворцовую набережную вываливается большая толпа эрмитажников, провожающая своего директора, а наиболее инициативная группа в 40-50 человек увлекает его в кафе "Север" на Невском, продолжая его чествование.

Так закончился "звездный час" в жизни М.И., час великого, с честью выдержанного испытания, победы духа, зачеркнувшего без раздумий путь заманчивой карьеры. Эрмитаж простился со своим "фельдмаршалом". Такой неизвестный ему псевдоним бытовал за его спиной. Подсказанный именем и отчеством, он подкреплялся прямодушно мудрым характером М.И. Даже, кажется, находилось и некоторое внешнее сходство в копне седых волос, волевом профиле, слегка прищуренном левом глазе.

За полгода до 200-летнего юбилея Эрмитажа, в основном уже подготовленного М.И., он однозначно и решительно отказался от своего высокого положения. Поступок этот, внешне очень эмоциональный, в действительности был глубоко продуман, можно сказать выстрадан умом и сердцем. Только сейчас приходит понимание в чем-то исторического значения этого незримого миру подвига. Заповедной в Эрмитаже осталась вся прославленная экспозиция, а сам драматический урок стойкости Артамонова оказался настолько значительным, что, и сняв непокладистого директора, вернуться к предлагавшейся варварской "хирургии" никто уже не посмел.

Как пещерно выглядела бы наша культура, покрытая позором дикости и произвола, какое несмываемое пятно легло бы на новейшую историю многострадальной картинной галереи Эрмитажа, насколько затруднены бы были наши международные художественные связи, если бы в этом поединке один Артамонов не оказался бы сильнее партийно-государственного аппарата давления. В современном Эрмитаже этот отдел, наполненный рядом новых экспонатов, представляет эстетическую ценность мирового значения и особенно широко посещается гостями музея, не ведающими о трагической ситуации 1963-1964 годов.

* * *

В марте 1964 года начался последний период в жизни М.И., когда сфера его деятельности была ограничена заведованием кафедрой археологии Ленинградского университета.

...Беспокоило его сердце, страдавшее врожденным пороком. А он считал морально недопустимой для себя реакцией инфаркт, либо инсульт. Он должен был выстоять до конца, так сказать, на ногах. Тогда он решил уехать недельки на две в тихое Рошино на Карельском перешейке (около 50 км от города), где у Артамо-

новых был предельно скромный стандартный дачный домик. Предложил мне разделить с ним компанию, благо у меня был неиспользованный отпуск. Самая обычная сельская жизнь. Дрова, вода, расчистка снега, иногда прогулки под мрачными елями подступающего к домику леса. Соревнования в простейшей кулинарии. Более опытный М.И. наставлял меня в искусстве топки углем.

Эрмитажная тема полностью исключалась из обсуждения. Лишь однажды, как бы подытоживая свои рассуждения, М.И. сказал: "Всю жизнь я шел к этому. Все нормально". С увлечением редактировал свою рукопись о скифо-сибирском зверином стиле. Равовался каждому новому наблюдению. Обсуждал общую программу и отдельные разделы моих набросков по происхождению искусства, очень тонко, с искренним интересом анализировал отдельные "фрески" палеолита, воспроизведенные в захваченном мною в Роцино толстенном томе Паоло Грациози.

А одним вечером, как-то во время затянувшегося чаепития (М.И. завершил работу над рукописью) он предался отрывочным воспоминаниям о петроградской молодости. И я тогда узнал, что в ту пору он был, по его словам, третьеразрядным поэтом и даже как-то в этой связи удостоился неожиданного гонорара. Однажды ему негде было остановиться и тогда его приютил случайно встреченный поклонник его таланта. Узнал о том, что в 1917 году, будучи беспартийным, он входил в один с Ежовым дивизионный комитет солдатских депутатов и непримиримо враждовал с ним. "Мое счастье, что в 30-е годы я не попался ему на глаза," — сказал М.И. Мечтательно тепло, как самое светлое время своей жизни, вспоминал период НЭПа — небольшие уютные "забегаловки" на Миллионной, где было принято душевно, без оглядки общаться с друзьями, обсуждая и научные, и поэтико-художественные темы. Из поэтов этого круга особенно выделял Владимира Казимировича Шилейко, тогдашнего мужа Анны Ахматовой. Об ее же стихах (разумеется, имея в виду творчество той же поры) отзывался более сдержанно. "А потом нас загнали каждого в отдельную норку, страхом разрушили наше естественное содружество. И стали мы одиночками," — такое завершение рассказа погрустневшим М.И. объяснило мне очень многое.

При широте интересов М.И. и большом ресурсе его активности меня удивлял несколько замкнутый образ жизни, по существу ограниченный кругом семьи. Он много знал об окружающих его сотрудниках, по-разному реагировавших на испытания жизни и постоянное давление общей атмосферы. Наиболее близки ему были по духу и взглядам, пожалуй, М.П.Грязнов и И.И.Ляпушкин. Но и с ними общение, в основном, ограничивалось самим предметом археологии, не припомню случая, чтобы они ходили друг к другу в гости. За приведенной фразой ощущался глубокий, на всю жизнь, психологический надрыв, как следствие обрушившихся на страну десятилетий репрессий, идеологических компаний и проработок, подрывавших человеческое доверие и, если оценивать в перспективе, дегуманизирующих общество.

...Осенью 1964 года, в самые последние дни подготовки 200-летнего юбилея Эрмитажа, М.И. как-то сказал мне: "Вы мне нужны на кафедре". Это была воля моего учителя и такое решение я принял сразу, без раздумий. В ноябре того же года я начал свое преподавание.

С университетом была связана вся сознательная жизнь М.И. с момента его студенческого зачисления в 1921 г. В 1924 г. он окончил отделение археологии и истории искусств факультета общественных наук, а с 1925 г. начал свою работу младшим ассистентом археологического кабинета. На разных этапах своей жизни он неоднократно повторял, что свою связь с университетом особо ценит и сохранит ее навсегда. Так оно в действительности и произошло. В плане некоторой творческой компенсации, отсутствие всяких совместительств предоставило много больше возможностей для реализации давно обдумываемых научных замыслов.

Но сказывалась, конечно, и резкая смена того предельного, не знающего перерывов напряжения, в котором десятилетиями жил М.И. Несколько смягчила этот перелом поездка в экспедицию истфака, работавшую в Дагестане. Теплая встреча с нашими выпускниками — семьей Котовичей, ставших лидерами археологии Дагестана. Раскопки под Хасавюртом, княжеский аул Башлыкент, где нас, объявив кунаками, продержали в кунацкой несколько дней. Наконец, Дербент, где М.И. на стенах калы с увлечением разыскивал обнаруженные им еще в довоенные годы граффити.

Общие лекции М.И. по основам археологии аккумулировали в себе многолетний опыт глубокого владения предметом в полном его объеме и сложностях, но были несколько монотонными, лишенными аффектации и никак не ориентированными на внешнюю занимательность. Их надо было, вдумываясь, серьезно слушать. Совершенно иной характер представляли читаемые археологам спецдисциплины по очень широкой тематике (бронза, скифы, хазары, славянский этногенез и др.). В эти часы М.И., словно не прерывая свои постоянные научные изыскания, знакомил студентов с самыми последними результатами своих занятий, вплоть до только этим утром возникших предположений, входя во все сначала незамеченные детали и не скрывая противоречий, споря сам с собой и пробуждая ответную активность студентов. Во всем этом физически ощутимо открывалась живая лаборатория его мысли и научная этика, подчиненные только одной цели — приближению к достоверному пониманию великого и одновременно исключительно сложного прошлого пути человечества как исторической реальности. Так, уже на первой студенческой ступени М.И. учил диалектике науки — уважению авторитета и одновременно самостоятельности, не исключаяющей аргументированного спора с ним. Бескорыстно относящийся к познанию как величайшей человеческой ценности, смело ставящий его интересы на первое место, наделенный чувством естественной самокритики, чуждый конъюктуры великий труженик внушал своим примером казалось бы элементарные, но столь трудные для достойного повседневного исполнения истины. Выражалось это все в его любимых присловьях: "Любить не себя в науке, а науку в себе" или "Чего-чего, а науки на всех хватит" (в осуждение амбициозного стремления к монополии).

...Приближалось 70-летие М.И. Он заблаговременно категорически отказался от какого бы то ни было официального чествования. Поэтому вся подготовка к этому юбилею, включая извещение зарубежных коллег, велась в условиях стражайшей конспирации. Увенчалась она впечатляющим актом серьезного почитания большого и мужественного патриота.

Пришедший на очередное декабрьское заседание ученого совета (1968 г.) с самой прозаической повесткой, М.И. попал в актовЫй зал, украшенный цветами и никак не вмещавший ожидавшую его взволнованную аудиторию. Сотрудники Эрмитажа, Университета, Института археологии, других институтов и музеев не только Ленинграда, но и других городов, масса приветствий, адресов, телеграмм, незабываемые по правдивости и яркости выступления (например нашей эрмитажной "Тоти" — Антонины Николаевны Изергиной). Трудно представить такую раскрепощающую человека атмосферу подлинного уважения и любви к опальному профессору. Каждый чувствовал исключительность этого чествования, испытывая какое-то просветление души.

Нигде не обозначенный и обошедшийся без банкета юбилей, как зримое свидетельство неподкупности человеческой памяти, морально поддержал М.И. С новыми силами он продолжил развитие своих принципов в работе кафедры. Особый акцент делался на утверждение компетентного научного свободомыслия и "археологической гласности" (т.е. принципа свободного доступа к археологическим коллекциям), инициатором которой выступил М.И. еще во время работ Волго-Донской экспедиции. Студенты и аспиранты, которыми руководил М.И., были совершенно свободны в своих научных занятиях. Единственным критерием служили честность и квалифицированность археологического опыта. М.И. "выпускал в свет" аспирантов по широкому кругу археолого-исторических проблем, но никого из них не превращал в привязанного к себе адепта, не создавал из этого достаточно численного состава нечто подобное группе, которая подчинялась бы его указаниям. Установка на "команду", достаточно отвечавшая условиям времени, была органически неприемлема для него. Он, как самодостаточная личность, не терпел подхалимажа и был начисто обделен способностью интриги и сколачивания коллективного "лобби", какого-то предварительного сговора. Странник аргументированного плюрализма, прояснявшего вопрос в ходе честной, ведущей по существу, подлинно научной дискуссии, он выступал всегда открыто и прямо, сам по себе, с поднятым забралом, даже в самых неблагоприятных для него условиях, когда по спорному вопросу "инстанциями" заблаговременно уже было принято явно несправедливое решение. Обладая сильной теоретической интуицией и обостренным восприятием нового, М.И. чутко улавливал каждую неординарную мысль и заставлял своих учеников доводить работу до известной завершенности, особенно если она шла вразрез с его, отнюдь не догматическими, представлениями. Спор с учениками он вел на равных основаниях, не отвергая противоположные выводы, и сохранял перспективу их развития. Последним его действием в этих случаях было нелегкое "пробивание" соответствующей публикации. Но и щедрое отеческое отношение к своим ученикам никак не приглушало этико-научную взыскательность. При идейной широте он на дух не принимал любого тлетворного душка, совершенно противоположного гуманитарной сущности науки.

Чтобы все сказанное не оставалось словесной декларацией, приведем несколько фактических примеров, характеризующих отношение М.И. к растущей археологической смене.

...Отзыв М.И. на кандидатскую диссертацию одного из учеников: "С основными выводами представленной работы не согласен. Но в той же степени у меня

нет ни малейших сомнений в том, что автор этого дискуссионного исследования по своей высокой квалификации и научной подготовке полностью заслуживает присвоения ему искомой степени". Все последующее показало глубокую верность такого заключения в каждой из его двух частей.

Неоднократно его объективность особенно зримо проявлялась тогда, когда он радостно воодушевлялся, обнаружив в публикации в общем-то "антиподального" по отношению к нему автора нечто существенно значимое для науки. Приведу один из таких эпизодов, когда М.И. просматривал свежий выпуск "Кратких сообщений". Углубился в чтение, а затем вдруг порывисто встал, взволнованно заходил по комнате, восклицая: "Ну и сукин сын! Как здорово все понял и доказательно объяснил!". Такую эмоциональную реакцию вызвала статья Э.А.Симоновича, в прошлом его аспиранта, вскоре перебежавшего в "дружину" более влиятельного патрона Б.А.Рыбакова, основного идейного оппонента М.И.

При сдержанности М.И., с оттенком некоторой суровости, исключительными были, как их противоположность, терпимость и мудрая снисходительность в отношении прорывавшейся юной невыдержанности и необоснованных претензий. В такой связи припоминается защита диплома на кафедре. И сам достаточно заметный по своей активности дипломант, и руководитель, относящий его к наиболее перспективным своим ученикам, претендовали на признание исключительного значения этой работы. А М.И. с прозаической прямолинейностью сказал, что все полученные результаты не идут дальше выводов одной из известных работ Гордона Чайлда. В ответ он услышал что-то вроде того, что он несколько отстал от новейших течений науки и поэтому не понял, что дипломанту не хватило одного дня для оформления выдающегося открытия. М.И., ни на йоту не меняясь в лице, только отшутился, напомнив одну из басен Хемницера. Сейчас, когда после защиты прошло около 30 лет, надо отметить, что заявленное открытие так и не состоялось.

Сталкиваясь порой со случаями несправедливости в отношении к какому-то студенту, М.И. равнодушным к этому не оставался. Отвечал же он на такие ситуации не словопрениями, а делом, которое все ставило на свои места. Так при долгой защите одного необычного по предмету исследования диплома он уловил несомненную тенденциозность оппонента, явно поставившего своей целью провал этой работы. В такой напряженной обстановке М.И. не завершает защиту. Он, вопреки практике, прерывает ее и назначает специальную комиссию для ознакомления со всеми обширными материалами дипломанта. В результате заключительной защиты комиссия не только высоко оценила обсуждавшуюся работу, но и подчеркнула ее серьезное научно-практическое значение. В эти дни автор диплома, переведенный из другого университета и до того не бывший в поле зрения М.И., на пороге завершения вузовского образования ощутил особую человечность этики своего ленинградского шефа.

Обычно же студента, увлеченного первыми тайнами археологии, М.И. распознавал сразу и, незаметно для него, не оставлял своим вниманием. Вспоминается как на несколько однообразном заседании кафедры (собеседование с еще очень "зелеными" студентами I курса вечернего отделения) казалось дремлющий М.И. весь преобразился и зажегся интересом, когда только начинавший учебу Вася

Булкин взгромоздил на стол профессора большую картонную коробку с множеством карточек археологического каталога Гнездово. "Из этого молодого человека будет толк," — тихо сказал он. В другом случае М.И., да и всю кафедру, растрогала замечательная девчужка-абитуриент (Наташа Хвоцинская) своим увлеченным рассказом о бесконечно дорогой ей плинфе, знаки на которой она надеется связать с древнерусской письменностью. Несмотря на трудный, несколько смутивший ее вопрос М.И. (о разнице между глаголицей и кириллицей), наверное, этот искус означал момент ее выбора пути в науку.

Так каждый год подытоживался очередным выпуском дипломантов, а следующий начинался с собеседования с новой группой поступивших на истфак. При немалой педагогической нагрузке доцента я продолжал по мере возможности неотступную для меня тему происхождения творчества в свете археологических источников. Продукцией были либо тезисы, либо короткие статьи. Их машинописный текст я сразу же представлял М.И. Для меня волнующим моментом, а заодно и стимулом к работе, были те минуты, когда он при мне читал текст и по лицу мне совершенно ясна была его реакция.

Решительный разговор состоялся в начале 1971 года, примерно через 10 лет после моего неосторожного выступления в Институте по докладу А.А.Тудоровского.

— Когда Вы думаете завершить Вашу работу?

— Наверное, лет через десять.

— Не пойдет. Я обязательно хочу быть на Вашей защите. Посему, твердое решение — обсуждение Вашей диссертации проведем до конца этого года, а защиту — в начале следующего. Ваша забота — в каком виде она будет представлена на обсуждение.

Обсуждение диссертации М.И. провел 30 декабря 1971 года и сразу же оформил решение Ученого совета о ее защите 27 апреля 1972 года при моей полнейшей неподготовленности ко всем необходимым процедурам. Опускаю все детали защиты, кроме самого важного для меня — двух выступлений М.И., которые отчетливо живут в моей памяти и поддерживают меня в трудные минуты.

Наступило лето 1972 года. М.И. продолжал археологические штудии с небывающей энергией, ясностью многоопытного ума и прежней страстностью научного искателя. Как итоговое резюме одному из исследовательских направлений своей жизни он закончил принципиально важную статью "Первые страницы русской археологии в археологическом освещении". Новые установки и смелые мысли этой работы, по существу посвященной памяти особо достойного и близкого по духу ученика И.И.Ляпушкина, развивали и обогащали идеи его последней книги (1968 г.). Несоответствие этого творческого опыта представлениям официальной исторической науки тех лет явилось непреодолимым препятствием для публикации статьи в историческом журнале. Все попытки М.И., придававшего особое значение этому изданию, пробить стену редакторской костности и круговой поруки в науке успехом не увенчались. И это стоило ему больших переживаний.

Жил М.И. на "Куприяновской" даче в Солнечном (Карельский перешеек), опекаемый сестрой невестки Ириной Петровной Куприяновой. 30 июля он выступал на истфаке перед абитуриентами накануне вступительных экзаменов, напутст-

вужа их в университетскую дорогу. Его завещание молодым заключалось в двух словах: "Честность и смелость". На следующий день во втором часу дня меня сразил в кабинете декана звонок убитой горем Ирины. В 12 часов, после чашечки кофе М.И. в самом бодром настроении сел за свою пишущую машинку, а через час обширный инфаркт привел к быстрой кончине. Была впечатляющая панихида в актовом зале "Двенадцати коллегий". А памятник, обращающий внимание гармонией своего строгого решения, на Северном кладбище (совместная могила М.И. с ранее умершей Ольгой Антоновной) из габро-диабазы (проект и модель были выполнены за одни сутки бывшим эрмитажником, скульптором Эдуардом Озодем) был поставлен силами преподавателей и студентов кафедры, без привлечения сторонней силы. Своего учителя предать земле должны были сами ученики.

* * *

В конце этого наброска воспоминаний, прежде чем остановиться на последней, исключительно особенной черте характера М.И., несколько слов о частных деталях, вписывающихся как отдельные черточки в его психологический портрет.

Очень не любил телефон. Вероятно, такой рефлекс был производным от многолетнего соседства в кабинете с вертушкой — постоянным источником неприятностей. В дальнейшем это же чувство, вероятно, укрепилось ослаблением слуха. Курил, хотя это ему было противопоказано как сердечнику. Сокращал число сигарет, но бросить не мог. Успокаивал близких тем, то он не затягивается и т.п. К вину пристрастия не испытывал, но толк в нем знал. Вспоминая Северокавказскую экспедицию, особенно одобрял донское "монастырское" вино у старушек хутора Потаповского на Дону, которое ценил и начальник экспедиции А.А.Миллер. Отличался достаточной устойчивостью к действию алкоголя.

Помимо решающей роли семьи, дополнительным успокоителем возвращавшегося нередко поздно вечером совершенно "выжатого" М.И. на протяжении ряда лет был его любимец — эрдельтерьер Бэмби. С бурной радостью бросаясь на хозяина, он передавал свое понимание мира — самое главное в том, что мы вместе, а все прочее преходяще.

Последняя черточка — М.И. патологически забывал имена и отчества. Засвидетельствован один уж крайний случай, когда, правда в условиях многолюдной беседы участников проводившегося в Ленинграде археологического Пленума, он запамätовал имя и отчество своей жены. Вспоминал свою молодость, когда нужные на наступивший день или вечер имена и отчества можно было записать на манжетах и затем незаметно подглядывать.

А теперь пришло время, подытоживая очерк, вспомнить фундаментальную линию особого свойства в его духовной структуре. Эта линия служит самым диагностичным показателем человеческой этики М.И. — удивительной искренности и сердечности сопереживания, того, что его душа постоянно страданием человеческим была уязвлена. Качество это никогда им не объявлялось, даже скрывалось. Но последовательная серия его действий, подчиненных единой логике, позволяет "вычислить" эту доминанту ментальности Артамонова. Ее содержание можно опре-

делить как острое сострадание к подвергнувшимся репрессиям и, более того, отражение какого-то чувства вины "несидевшего" перед ними.

Обратимся к фактам такого рода. Сразу же после амнистии 1956 года Эрмитаж при деятельной инициативе директора приютил ряд лиц, только что вышедших на свободу. Одним из них был давний коллега М.И. по институту Борис Александрович Латынин, человек с глубоко трагической амплитудой жизни (от пажа Зимнего дворца в юности, накануне революции, до многолетнего гулаговского заключения). При генетически властном характере такие потрясения, да и его возраст, отягощенный инвалидностью, очень затрудняли совместную с ним работу. Будучи научным сотрудником отдела, он иногда принимал неожиданные решения и отдавал приказы, не соответствующие его должности.

Один из таких конфликтов разворачивался весной 1958 года. Придя на работу, я неожиданно узнал, что Латынин, минуя зав. отделом и дирекцию, отдал распоряжение о немедленном демонтаже уже упоминавшейся экспериментальной выставки "Древнейшее прошлое Ленинградской области", активно посещаемой посетителями. Успокаиваю своих коллег и они продолжают вести экскурсии по этой экспозиции. На меня очень резко, с угрозами нападает Б.А.Латынин. Не получив мое согласие на ликвидацию выставки, заявляет, что увольняет меня из Эрмитажа и спешно отправляется в дирекцию. Через полчаса меня вызывает М.И. Усталый (позади какая-то очередная нервотрепка), смотрит на меня как на причину дополнительных переживаний.

- Ну что это Вы никак не можете поладить с Борисом Александровичем?
- Он приказал разобрать выставку на Салтыковском. Исполнить сие?
- Никким образом, выставка оправдывает себя и будет работать.
- Что же я тогда могу сделать для примирения?
- Придумайте что-нибудь. И никогда не забывайте, что он сидел многие годы, а мы с Вами не сидели.

Последние слова звучали таким состраданием, а заодно и нотками покаяния, что они врезались в память подобно высеченным на камне.

Пожалуй, еще более показательна для "широкой" характеристики Артамонова история "Левушки". Так ласково на протяжении многих лет он называл Льва Николаевича Гумилева, жизненную трагедию которого знал на правах очевидца (в младенчестве потеря отца как врага революции, детская неприютность, в юности существование с позорным клеймом, а затем аресты) и высоко ценил его художественный талант. Приютил его перед второй посадкой в Волго-Донской экспедиции, где он, держась предельно замкнуто, однажды вечером поразил нас чтением своего замечательного по образной силе перевода Гесера. После его выхода из лагеря в 1956 г. М.И. сразу же взял его в Эрмитаж, зачислив в штат библиотеки с полной свободой научных занятий. В эти годы фантазия Гумилева эмбрионально сублимировала те "пассионарные" идеи, которые много позднее, будучи обнародованными, придали ему особую популярность. М.И. был очень отзывчив на сообщения о полевых поисках Гумилева, внося большую поправку на его воображение. По одному из них — якобы об открытии Итиля, что составляло заветную мечту Гумилева — М.И. осмотрел заурядное малое городище у станицы Шелковской в Дагестане. М.И. подготовил и провел его защиту, развивая идею необходимости

становления особого направления гуманитарии — художественной историографии. Все сразу же изменилось незадолго до кончины М.И., когда Л.Н.Гумилев начал раскрываться в своей претензии на глобальную историческую теорию. Такая фантастическая спекуляция, да еще отдающая душком, для М.И. была категорически неприемлема. Сокращая свой последний разговор с Гумилевым, М.И. не изменил своей прямоте: "Лев Николаевич! Вот Бог, а вот порог," — были прощальные слова бывшему "Левушке".

С неподдельной заботой и уважением относился М.И. к также прошедшему через Гулаг самоотверженному труженику и человеку предельной скромности Ивану Георгиевичу Спасскому — замечательному знатоку русского монетного дела, к другим узникам лагерей — М.А.Гуковскому, С.С.Сорокину, Л.И.Тарасюку.

И в той же связи особого комплекса в сознании М.И., как бы заключавшего в себе чувство безысходной вины гражданина страны перед жертвами репрессий, уместно вернуться к "загадке Малинина". Она прояснилась для меня, когда Павел Иванович в один из дней своего рождения собрал "на обед" несколько человек в своем кабинете (антресоли над бюро пропусков на Малом подъезде). В этой обстановке он отдался воспоминаниям "о прожитом", которые явно тревожили его. В силу их безыскусности и многих специфических деталей, они документально несомненно интересны. Мы же передадим их в самом кратком конспекте.

В разгар репрессий 1937 года, при большой нехватке исполнителей в НКВД, он по всем параметрам (малая образованность, скованность мысли сочетающаяся с солдатской дисциплинированностью) подходил для этой службы. Работа у него была писарская. Трудолюбиво, без раздумий, находясь полностью во власти партийной пропаганды, он днями, а во время авралов и ночами выписывал ордена на арест "врагов народа". Исполнительность была замечена и зимой 1937 года ему доверили проведение простейшей в глазах начальства операции — вывоз семей арестованных военных на крайний Север. Для технической подготовки Малинин выехал в предполагаемые места и там убедился, что этот контингент собираются бросить на гибель зимой в открытую тундру. Вернувшись, твердо отказался от этого поручения. На все давление и запугивание отвечал одной фразой: "Женщин и детей убивать не могу". Получил 10 лет и полностью их отбыл. Когда вышел на волю, не застал в живых ни одного из сотрудников по своей бывшей работе.

* * *

Цель наших воспоминаний — рассказ об М.И. как совершенно особой личности, но, конечно, в пределах нашего знания. Его фундаментальный, в чем-то энциклопедический, со временем все более высоко оцениваемый вклад в отечественную археологию и историю очевиден. Но никак не меньшее значение представляет урок его жизни, мужественной и жертвенной, сохранившей в самые тяжелые десятилетия заповеди общечеловеческой этики и нравственности. И если в самую критическую пору ниточка совести, ума и воли не оборвалась в России, если как-то была сохранена изреженная духовная ткань, то в этом заслуги людей такого скла-

да и значительности бесспорны. В этом контексте к М.И. можно полностью отнести понятие "Человек на все времена".

М.И., не подчеркивая это особо, гордился дальним родством с Валерием Чкаловым. И сам он на другом — земном, но для него очень опасном — поприще проявил гражданский героизм, невидимый тогда всему обществу и раскрываемый только исторически. Был Михаил Илларионович Артамонов несомненно с начала до конца истинно русским человеком, сохранившим наследственные замечательные качества выросившей его тверской среды. В наших глазах — он олицетворение большого, очень щедрого и искреннего, кристально чистого русского сердца. Не наблюдая у него никаких проявлений религиозности, думаю, что по существу его духовно можно определить как естественного православного христианина.

Ныне М.И.Артамонов уже принадлежит неподкупной истории. Мы уверены, что со временем его имя и дело получат все более весомое признание общества. Забвению здесь нет места.



М.И.Артамонов